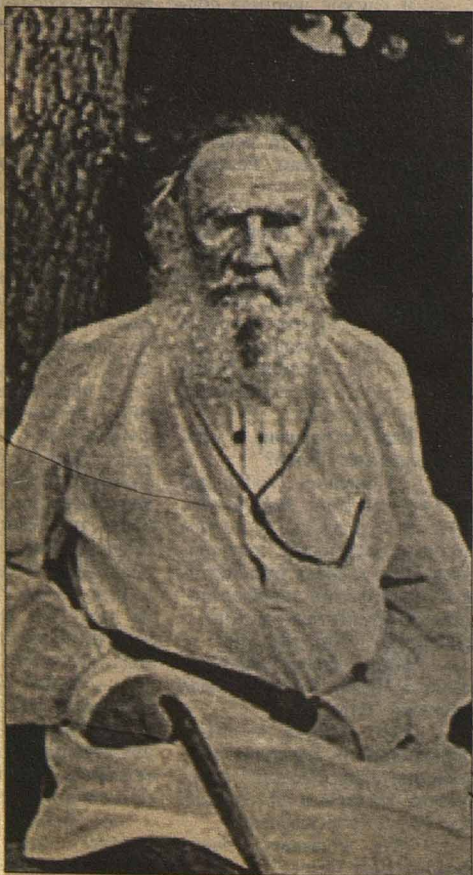


ТОЛСТОЙ И ПЛЕХАНОВ

Д. Толстой написал «Не убий никого». <...> Толстой ничего не прибавляет к тому, что говорит уже много лет, и, может быть, к тому (это самое главное), что человечество знает давно без Толстого, знает с незапамятных времен. Древний, вечный закон «не убий» не отрицает и Плеханов, который, однако, выступает против Толстого и его статьи, против левых газет, напечатавших ее с по-



Кто из нас, привыкших к легкости самых «сильных» слов, мог бы в то время понять, какая тяжесть заключена для самого Толстого в каждой из этих простых, коротких строчек?

Помню, и тогда, при свидании нашем в 1904 году в Ясной Поляне, странно — и только жутко — прозвучали для нас слова Толстого о его *теперешней* жизни.

Он рассказывал, что пишет дневник.

«Но трудно писать! Столько неверного, ужасного, тяжелого, гадкого в жизни — как говорить об этом? Да вот если б описать только один день моей *теперешней* жизни...»

Мы изумились: *теперешней*? мы не поняли этих слов тогда — ведь это было для нас слова-звук; мы не знали, что он может дать и дает нам больше, чем мы умеем просить.

И только раз, в то свидание, почувдалась мне близость тайны в этом человеке, страшной, святой и живой. Говорили о воскресении. Он произнес:

«Ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу: вот, в руки Твои передаю дух мой! И пусть Он сделает со мною, что хочет. Сохрани, уничтожит или восстановит меня опять — это Он знает, а не я...»

Теперь, когда любящие руки уже протянулись к нему — наша радость в том, что мы видим всю помощь, которую подал он нам. Теперь стало ясно, и просто, и легко многое, что прежде вязало и туманило нас. Родная земля ожила и вздохнула единой грудью. Отлучившие себя от первого ее сына — отлучены и ныне от нее. Пусть стоят на своих «камнях»... пока могут. Не будем указывать на них; ведь «не указанием на ложь лжи достигается освобождение». Жизнью своей и смертью великий христианин земли

спешностью. Не один Плеханов, многие встали тогда на Толстого за его статью, а ведь и эти многие, конечно, знают, что Толстой прав; слышали о вечности древнего закона «не убий».

В чем же дело? Значит ли, что прав Толстой, что неправы упрекающие его?

Нет, не значит. Они так же правы, совершенно так же, в той же мере, как прав Толстой. У Толстого настоящая правда, только не полная — половина правды; у возражающих — другая половина. А неправда — между, неправда в том, что две половины отрицают друг друга, враждуют, считая себя каждая — целым.

Толстой мне страшен иногда, несмотря на правду его. Толстой так возненавидел мир, так осудил его и, осудив, так безнадежно бросил его — что всякому, кто уходит с Толстым, надо бы умереть от страха за мир, а остающемуся в мире, с миром — умереть от страха за Толстого. В самом деле, что нам говорит Толстой?

Будьте совершенны. Сию минуту, сейчас, все сделайте сразу вполне совершенными. «Стоит только сговориться» — и вы все исполните. Вы можете исполнить, стать в один миг все совершенными, вы только не хотите. Это злая воля. Ваша человеческая злая воля одна причиной тому, что мир несовершенен. Вы виноваты во всем. Если вы несчастны — вы наказаны достойно, если кто-нибудь еще счастлив — это обман, несчастье придет. Все осуждены без прощания, потому что могли исправиться — и не хотели, и так и умирают несовершенными в несовершенном по их вине и злой воле мире.

Толстой, который столько говорил нам о любви, в сущности идет тут не только против любви, но, может быть, против Высшего разума, Высшей воли — против Бога. Ведь если «жизнь» есть достижение совершенства во времени, если такова была высшая воля — Толстой, отрицая жизнь, историю, движение к совершенству, идет против Бога, в которого сам верит.

Как мог он не осудить «освободительное движение», если он осуждает всякое, осуждает все движение жизни? Его абсолютная правда — звезда, но он не только не указывает к ней путей — он не хочет, чтобы к ней был путь, он не любит ищущих пути, не верит идущим. Он требует, чтобы все сейчас же и сразу очутились на этой звезде, а если нет — то все равны, все одинаково никуда не годны. Пропало человечество. Насмешка — история. Как были люди злы волей, так и остались. И какие основания верить, что завтра или послезавтра вдруг наступит момент, когда все люди сразу сделаются совершенными, верить, несмотря на длинную цепь прошлых бесплодных дней? Это мог бы разве безумец. Уж конечно, не Лев Толстой, уважающий не только высший разум, но даже простой «здравый смысл», настаивающий на здравом смысле. Толстой — величайший пессимист нашего времени. И он не учитель, потому что он ничему не учит. Он только показывает нам абсолют, цель, совершенство — и утверждает непреходимую бездну, отделяющую человечество от этого абсолюта.

С высоты абсолюта — все равны. Неразличимы оттенки, нет не только отдельных индивиду-

альностей, но даже исторической смены времен. Для утверждающего: «Не убий никого», как закон, которому слишком давно надо было исполниться и который не исполнился лишь благодаря злонаравию людскому, — для него какая может быть разница между убийством-казнью и между убийством-самоубийством революционера-идеалиста, между убийцей-вором и убийцей по нечаянности? О, конечно, ни малейшей. Мало того: если быть последовательным, то надо признать, что даже будищие люди, не убивающие людей, в сущности, равны в глазах Толстого людям *теперешним*; пусть они и животных не будут убивать: остаются растения, остаются живые организмы, которых убивает наше тело. А ведь закон — «не убий никого». Где же границы осуждению человечества? <...>

Плеханов видит движение жизни. Во имя этого движения он восстает на Толстого — и тут он прав. Грубо говоря, Плеханов признает «тактику» и «практику», то, от чего Толстой навсегда отвернул лицо. <...> Плеханов видит и признает обидную, поступательную работу в реальной жизни. Я не сужу сейчас, верна или не верна «тактика» Плеханова. Это другой вопрос. Важно отметить, что он какую-то тактику признает, смотрит в жизнь. Тут его правда, вернее — половина правды; другая ее половина — у Толстого. Потому что если Толстой кладет центр тяжести в абсолют, утверждает цель без средств ее достижения, то Плеханов, со своей стороны, заботится только о средствах, о движении... неизвестно куда, неизвестно к чему. Может быть, к нескольким неопределенным, полупутным целям, во всяком случае не к абсолютной цели, так как никакой абсолют, с точки зрения Плеханова, недопустим.

И вот у одного получается бесцельное движение, у другого — недостижимая, а потому ненужная цель. Плеханов с миром, с человечеством — против Бога, Толстой со своим Богом — против человечества и жизни.

<...> Ни Плеханов, ни Толстой, ушедшие каждый лишь в свое, одинаково не видят и не чувствуют страшной, глубоко реальной, жизненной антиномии, которая так часто теперь встает в душе каждого человека, начинающего видеть обе правды: и правду жизни, и правду ее смысла. Убивать нельзя... это вечно, это абсолютно, это непереступимо. Убивают... это переступается, это было, это еще есть. В одной и той же душе, смятенной и окрыленной, кричат иногда два голоса: «нельзя... а может быть, еще надо». Вот благодатного ужаса, которым полно столкновение «нельзя — и надо», не видят ни Толстой, осуждающий всех во имя абсолюта, ни Плеханов, готовый простить многое во имя бесцельного движения человечества. О, слишком я знаю, что никакими словами нельзя заставить Плеханова поверить в то, во что он не верит, как Толстого — увидеть то, чего он не видит. А между тем это одно, такое явное для многих, могло бы утешить Толстого в его упорном одиночестве. Неужели толстовское «нельзя убивать» — совершенно такой же внешний

закон теперь, как и в те далекие времена, когда он был дан? Неужели трудно проследить его постепенное вращение в душу человеческую, увидеть не внешнее, а медленное внутреннее приближение человечества к нему?

Ветхозаветный Давид, святой и пророк, отлично знавший этот закон и чтивший Бога, без всяких сомнений переписывал, однако, тупыми пилами тысячи людей. У него в душе было одно «надо» и ни малейшего «нельзя». А маленький серый человечек наших дней, президент Фальер, менее всего святой и даже не занимающийся Богом, твердо милует всех осужденных на смертную казнь, твердо чувствуя, что уж казнить-то, наверно, больше «нельзя», и что касается открытого, обдуманного беспечного убийства одного — всеми другими, убийства-казни, — то и антиномии уже нет, не встает рядом с «нельзя» никакое «надо»; человечество, почти все, уже перешло тут известную черту.

Было бы ошибкой принять то, что я говорю, за легкомысленный оптимизм. Путь человечества чем далее, тем труднее. Антиномии ярче и мучительнее. Но путь, движение — или есть, или нет. Что-нибудь одно. И я только говорю, что движение — и движение по известному уклону — есть. Хорошо ли это или дурно, даже становится ли от этого человечество счастливее или несчастнее — вопросы посторонние, которые могут обсуждаться отдельно. Я их не касаюсь. Я здесь утверждаю только факты, реальность изменения внутренних человеческих переживаний. Многие из них еще не воплощены: между осознанной волей и осуществлением всегда лежит время. Но едва ли какое-нибудь истинное внутреннее переживание может остаться внутренним, не перейти в мир — в действительность. Если бы Толстой, ослепленный сиянием своего абсолюта, мог обернуться лицом к людям, увидеть их — он никогда не осудил бы их огулом и, конечно, никогда не осудил бы «освободительное движение». Говоря, повторяя свою вечную правду «нельзя убивать никого», он все-таки понял бы глубочайшую пропасть, которая отделяет человека-зверя, убивающего в безумии, от человека, убивающего умирая, в муках души между «нельзя — надо», и, наконец, этих обоих — от государственного убийства-казни, убежденного убийства многими — одного без иной цели, нежели убийство само по себе.

Да, нельзя убивать. Да, убийство нельзя ни оправдать, ни простить. Но наше ли дело осуждать, прощать или оправдывать? Толстой забывает, что и он сам — часть того человечества, которое он отверг. А только приняв его сейчас во всем его несовершенстве, можно его понять, можно любить и можно поверить, что *будет* Царство Божие на земле. *Николай Гоголь — 2001*

29 апр. 2001. Публикация Т. Ф. Прокопова С. 6.